

Сад за решеткой



ДЖЕЙН РЕЙНАРД

Джейн Рейнард

Сад за решеткой

«Автор»

2026

Рейнард Д.

Сад за решеткой / Д. Рейнард — «Автор», 2026

«Сад за решеткой» — роман о семейной тайне, вине, памяти и цене многолетнего молчания.

© Рейнард Д., 2026

© Автор, 2026

Джейн Рейнард

Сад за решеткой

1. Имя ГГ

Возраст: 27 лет

Внешность:

Высокий, худощавый, с немного угловатой фигурой. Темные, слегка выющиеся волосы, чаще всего в беспорядке, будто он не придает значения внешнему виду. Лицо выразительное, но не сразу запоминающееся: тонкие черты, глубокие глаза, в которых чувствуется постоянное внутреннее напряжение. Взгляд внимательный, иногда тяжелый — как у человека, который слишком много думает. Одевается просто, без изысков, но аккуратно.

Характер:

Склонен к рефлексии, наблюдателен, внутренне честен, но долгое время избегал глубоких вопросов о себе. Не слабый, но не сформированный — его главная черта в начале романа это уклонение от внутренней ответственности. По мере развития сюжета проходит путь от пассивного наблюдателя к человеку, способному принимать нравственные решения.

2. Софья

Возраст: 22 лет

Внешность:

Стройная, с мягкими, но четкими чертами лица. Темные волосы, чаще собраны, но в редкие моменты распущенные делают ее образ значительно мягче. Лицо спокойное, почти строгое, но глаза — живые, глубокие, с постоянной скрытой тревогой. Движения сдержанные, плавные, без лишней суеты.

Характер:

Сдержанная, внутренне сильная, но долгое время живущая в состоянии подавленного страха. Не склонна к резким поступкам, но обладает редкой нравственной чувствительностью. Ее сила — в способности видеть правду, даже если она не действует сразу. Постепенно проходит путь от молчаливого свидетеля к человеку, способному сделать выбор.

3. Лидия Сергеевна

Возраст: 38 лет

Внешность:

Высокая, сухая, сдержанная в движениях. Лицо с четкими линиями, без мягкости, но с глубиной. Волосы темные, с первыми признаками седины, всегда аккуратно убраны. Взгляд прямой, тяжелый, но не холодный — в нем есть усталость и знание.

Характер:

Рациональная, честная перед собой, но запоздало. Способна видеть сложность вещей, не упрощает ни себя, ни других. Не склонна к самооправданию, но и не ищет внешнего прощения. Ее трагедия — понимание, пришедшее слишком поздно.

4. Хозяйка дома (например, Воронцова)

Возраст: 56 лет

Внешность:

Статная, с прямой осанкой. Лицо строгое, почти неподвижное, с тонкими губами и ясным, но холодным взглядом. Волосы собраны в строгую прическу. Одежда всегда безупречна, но лишена всякой мягкости.

Характер:

Волевой, дисциплинированный, привыкший контролировать все вокруг. Искренне верит в порядок, долг, сохранение структуры. Не жестока в прямом смысле, но способна оправдать любое зло, если оно служит «необходимости». Эмоции подавлены и подчинены идее сохранения.

5. Отец главного героя

Возраст (в прошлом): 37 лет

Внешность:

Сильный, уверенный, с резкими чертами лица. Взгляд твердый, почти непреклонный. В нем нет сомнения — и именно это делает его опасным. Осанка прямая, движения точные, контролируемые.

Характер:

Авторитарный, убежденный в своей правоте. Не жестокий по природе, но способный на жестокие поступки ради сохранения контроля. Не сомневается, не колеблется. Считает, что знает, как «правильно». Его трагедия — неспособность отличить любовь от власти.

6. Мать

Возраст (в прошлом): 25 лет

Внешность:

Светлая, тонкая, с мягкими чертами лица. Взгляд глубокий, немного печальный, но не слабый. В ее внешности есть сочетание нежности и внутреннего напряжения. Она выглядит хрупкой, но это обманчиво.

Характер:

Чувствительная, умная, внутренне свободная. Не принимает ложь, даже если она удобна. Способна на решимость, но долго находится в состоянии внутренней борьбы. Ее трагедия — в том, что она видит правду раньше других и оказывается одна.

7. Дядя

Возраст (в прошлом): 40 лет

Внешность:

Похож на брата (отца героя), но мягче. Те же черты, но менее жесткие. Взгляд живой, тревожный, сомневающийся. В нем есть человечность, которой не хватает другим.

Характер:

Разумный, чувствительный, склонный к сомнению. Понимает происходящее, но не обладает достаточной решимостью, чтобы действовать вовремя. Его главная черта — опоздание. Не по глупости, а по внутренней неготовности идти до конца.

Глава I

Я прибыл к дому в тот час, когда вечер уже утратил мягкость и, не сделавшись еще ночью, приобрел ту суровую определенность, какая бывает только в безлюдных местах, где ветер кажется старше человека и правдивее его. Небо было низко. Оно не нависало, но как

будто медленно опускалось на землю, желая придавить и поле, и редкий лес за ним, и длинную, сыреющую дорогу, по которой моя коляска ехала с таким упрямством, словно и лошади, и кучер боялись остановки больше, чем темноты.

Я не люблю приездов. В каждом прибытии есть что-то унижительное: тыходишь в чужую жизнь, где уже существуют привычки, молчания, старые обиды, и тебе остается либо грубо вторгнуться в их порядок, либо покорно ожидать, пока тебя допустят к нему. Но в тот вечер неприятное чувство было иного свойства. Мне не казалось, что я еду в незнакомое место. Напротив, с каждой верстой во мне росло мучительное убеждение, что я возвращаюсь туда, где однажды уже был несчастлив, хотя разум мой не мог дать этому никакого основания.

Дом открылся внезапно. До последнего поворота дороги его заслоняли голые деревья и холм, и потому он возник передо мной не как строение, а как мысль, давно прятанная на краю сознания и наконец названная. Он стоял на возвышении, темный, вытянутый, со множеством окон, из которых светились только два. Остальные были черны и неподвижны, и я, сам не зная почему, подумал, что освещенные комнаты принадлежат живым, а прочие уступлены памяти.

Слева от главного фасада тянулась каменная ограда. Она уходила далеко, в сгущавшуюся мглу, и заканчивалась у ржавой, слишком высокой для простого сада решетки. Я заметил ее сразу и не мог бы не заметить, даже если бы не хотел. Калитка была заперта толстой цепью. За нею темнели спутанные кусты и какие-то старые деревья, так тесно сросшиеся ветвями, будто сад не был заброшен, а лишь отгорожен от мира по воле человека, желавшего, чтобы туда не ступала ничья нога.

Я отвернулся, но слишком поздно. В памяти, как молния в туче, на миг блеснуло что-то неясное: влажный запах земли, белая рука на черной решетке, и детский голос, произнесший шепотом: «Не смотри». Я подался вперед, словно мог еще ухватить это видение, но оно исчезло с той же поспешностью, с какой возникло, оставив после себя одно только болезненное волнение, не похожее ни на страх, ни на любопытство, а скорее на стыд перед чем-то забытым.

Коляска остановилась у крыльца. Кучер, не оборачиваясь ко мне, сказал, что дальше лошадей не поведет и вернется на рассвете, если дорога не размоется ночью. В его голосе слышалось простое, деревенское упрямство, но в этой поспешности было и другое: он желал избавиться от меня вместе с домом, как человек, выполнивший неприятное поручение и не желающий задерживаться там, где, по его разумению, ничто хорошее его не ожидает.

Дверь отворил слуга лет шестидесяти, высокий, худой, с лицом таким сухим и неподвижным, что оно казалось вырезанным из старой древесины. Он принял мое имя без удивления, будто ждал меня не ныне вечером, а много лет подряд.

Вас ожидали, сударь, - сказал он.

Эти слова, произнесенные просто, действовали на меня неприятно. Я не был приглашен с той сердечностью, при которой человека действительно ждут. Мне написали коротко и деловито, что разбор старых бумаг, оставшихся после смерти моего дальнего родственника, не может быть доверен постороннему, и что, если я дорожу именем семьи, мне следовало бы приехать. В письме этом не было ни просьбы, ни участия, ни даже вежливой необходимости, но я повиновался. Не потому, что дорожил семьей. К тому времени я уже слишком хорошо понимал цену родству, основанному на молчании, долговых обязательствах и старых недоразумениях. Нет, меня привела сюда смутная власть самого письма, сухость которого показалась мне более настоятельной, чем самое пылкое приглашение.

Слуга принял мой плащ и провел меня в длинную переднюю, где воздух был холоден, как в пустой церкви. Дом не выглядел разоренным, но в нем чувствовалась та особенная бережливость, которая граничит с унынием: ковры были старые, мебель прочна и тяжела, картины потемнели до неразличимости, а часы в дальнем конце коридора тикали так громко, будто старались заполнить собою нехватку голосов.

Хозяйка примет вас после ужина - сказал слуга. - Вам приготовлена комната на восточной стороне.

«Кто сейчас живет в доме?» —спросил я.

Он ответил не сразу.

Госпожа Воронцова. Ее племянница. И еще барышня Лидия Сергеевна.

Родственница?

Нет, сударь.

Я заметил, что на последнем имени его сухое лицо слегка изменилось, будто какая-то мысль, давно привычная ему, снова тронула его изнутри. Но он тут же потупился и повел меня наверх.

Моя комната оказалась просторной, слишком просторной для одного человека. В ней все было приготовлено тщательно, однако без тепла. Огонь в камине уже разгорелся, свечи были зажжены, на столе стоял поднос с чаем, но вся эта забота казалась исполнением долга, а не гостеприимством. Я подошел к окну. Оно выходило на боковую часть дома и на ту самую ограду, которую я заметил с дороги. В темноте сад был уже почти неразличим, но белесая линия дорожки внутри него виднелась, как шрам.

Я не суеверен. Во всяком случае, мне хочется так о себе думать. Человек, имеющий некоторый опыт утрат, скорее становится недоверчив к тайнам, чем склонен им поклоняться. Когда судьба достаточно часто показывает тебе, что самые страшные несчастья совершаются не под покровом чудес, а при ясном свете дня, руками самых обыкновенных людей, ты перестаешь искать призраков и начинаешь остерегаться памяти. И все же у этого сада была власть, которая не укладывалась в обыкновенные объяснения. Мне казалось не то, что я узнаю его, а что он узнает меня.

Я задернул занавесь с такой поспешностью, словно опасался, что, задержись я у окна еще на минуту, за решеткой непременно обнаружится что-нибудь недопустимое. Эта мысль показалась мне нелепой, и я даже усмехнулся. Но усмешка моя была недолгой. В ту же секунду я ощутил тот странный холод, какой испытывает человек, когда внезапно вспоминает не событие, а чувство, испытанное некогда при событии. Это было чувство ребенка, внезапно оставленного наедине с чем-то, чему он не мог дать имени, но что уже тогда было страшнее любого имени.

Я сел к столу, желая занять разум чем-нибудь более полезным, и только теперь заметил, что рядом с чайником лежит тонкий конверт без надписи. Бумага была пожелтевшая, но не от времени, а скорее от сырости. Я взял письмо, раскрыл и увидел несколько строк, написанных женской рукой, твердой и в то же время нервной:

«Если вы приехали по своей воле, мне жаль вас.

Если вас привели сюда чужие слова, жаль еще более.

Не спрашивайте о саде.

Не верьте никому, кто скажет, что там ничего не было.

Л.»

Подпись состояла из одной буквы. Я перечел записку дважды. В этих строках не было ни угрозы, ни явной просьбы, и именно поэтому они тревожили сильнее, чем могли бы тревожить любые прямые предупреждения. Человек, желающий напугать, всегда рассчитывает на впечатление; здесь же чувствовалось иное: будто написавшая не стремилась воздействовать на меня, а не могла удержаться от правды.

Я позвонил. Вошел тот же слуга.

Кто принес это письмо?

Он взглянул на листок, и на его лице впервые отразилось нечто похожее на раздражение.

Я этого не видел, сударь.

Но оно лежало здесь.

В таком случае, кто-то из домашних распорядился положить его до вашего приезда.

Кто такая Лидия Сергеевна?

Он медлил чуть дольше, чем позволяла простая учтивость.

Вам лучше узнать это от хозяйки.

Сказав это, он поклонился и вышел, оставив меня одного с запиской, с огнем и с тем неприятным ощущением, которое возникает, когда в доме, где ты еще не знаешь людей, уже началась игра, а тебе неизвестны ни ее правила, ни цель.

Я не спустился к ужину тотчас, хотя меня дважды звали. Мне нужно было овладеть собой. Подобные мелочи, если дать им власть над воображением в самом начале, способны превратить и самого рассудительного человека в жалкого толкователя теней. Я развернул свои дорожные бумаги, затем снова отложил их. Попытался читать. Каждая строка расплывалась. Тогда я подошел к зеркалу и увидел лицо утомленного человека лет тридцати, с тем выражением, которое появляется у людей не от старости, а от долгого внутреннего спора. Мне не понравился собственный взгляд. В нем было слишком мало решимости и слишком много ожидания, словно я надеялся не разобрать старых бумаг, а получить ответ на вопрос, который никогда не умел задать вслух.

Ужинали в малой столовой. Хозяйка, госпожа Воронцова, оказалась женщиной лет пятидесяти пяти, с прекрасной осанкой и лицом, когда-то, вероятно, замечательно красивым, а теперь выражавшим одну только привычку владеть собой. Есть люди, у которых выдержка кажется добродетелью; у нее она напоминала нечто более суровое, почти жестокое, как если бы всякая слабость в себе и в других вызывала у нее не сожаление, а отвращение.

Рядом с ней сидела ее племянница, Софья. Она была очень молода, с тихим, бледным лицом и такими глазами, в которых не было еще ясной печали, но уже жила настороженность. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не какая-то тень постоянной внутренней рассеянности, словно лучшая часть ее внимания всегда была обращена не к собеседнику, а к чему-то за его спиной, чего никто другой не видел.

Третье место за столом долго оставалось пустым. Когда я уже решил, что загадочная Лидия Сергеевна не выйдет, дверь открылась, и вошла женщина в темном платье, без всяких украшений, с той непринужденной прямоотой движений, какая дается либо очень чистой совестью, либо полным отчаянием. Она была не так молода, как Софья, и не так холодна, как хозяйка. Ее лицо нельзя было бы назвать правильным, но в нем была сила, которая тотчас уничтожала желание судить о его чертах порознь. Мне бросилось в глаза не то, что она красива, а то, что рядом с нею всякая выученная любезность кажется мелкой.

Она села, едва склонив голову в знак приветствия. Лицо ее было спокойно, но я ощутил, что именно она написала записку. Не потому, что узнал почерк, а потому, что в ее молчании было то же самое отвращение к пустым словам, какое слышалось в тех четырех строчках.

Ужин начался с самых обыкновенных фраз. Меня спросили о дороге, о погоде, о состоянии мостов на большой дороге. Я отвечал, как отвечают чужим людям, которых намерены узнать лишь настолько, насколько требует приличие. Но с каждой минутой меня все сильнее занимало не то, что говорилось, а то, чего избегали. Имя покойного родственника было упомянуто всего раз, и то с явной поспешностью. О делах дома никто не распространялся. Наконец разговор коснулся окрестностей.

Здесь, должно быть, летом хорошо гулять, - сказал я, сам удивившись тому, с какой нарочитой небрежностью произнес эти слова.

Софья подняла глаза. Госпожа Воронцова не изменилась в лице. Лидия Сергеевна положила нож на стол.

Здесь много сырости, - ответила хозяйка. - Для прогулок место не лучшее.

Но сад, вероятно, очень старый? Я видел ограду с дороги.

«Сад закрыт», — сказала она.

Всего два слова, но сказаны они были таким тоном, каким врач сообщает приговор, не допускающий возражения.

«По какой причине?» — спросил я.

И тут впервые заговорила Лидия Сергеевна.

По той, по какой некоторые двери лучше не отпирать, даже если ключ сохранился.

Ее голос был негромок, но в нем чувствовалось не желание утратить, а усталость человека, слишком долго прожившего рядом с одной и той же болью. Хозяйка бросила на нее быстрый, острый взгляд.

«Мы не мучаем гостей семейными преданиями», — холодно заметила она.

Разумеется, - ответила Лидия.

Эти два слова, внешне покорные, скрывали в себе столько неприязни, что даже Софья вздрогнула. Мне стало ясно, что между этими женщинами пролегает не просто несогласие, а такая давняя и глубокая вражда, которая уже утратила надежду разрешиться и существует как часть домашнего порядка, подобно сырости в стенах или трещине в старом камне.

После ужина хозяйка пригласила меня в кабинет. Там она передала мне связку ключей и объяснила, где хранятся бумаги, ради которых я был вызван. Говорила она ясно, кратко, с тем почти мужским презрением к лишним отступлениям, которое во всяком другом случае внушило бы мне уважение. Но сейчас меня раздражала именно ее сдержанность. Мне все больше казалось, что за этим самообладанием скрывается не сила, а страх.

Надеюсь, вы пробудете здесь не более недели, - сказала она под конец. - Чем скорее дела будут улажены, тем лучше для всех.

Для всех? - повторил я.

Она посмотрела на меня пристально.

Для вас в особенности. Вы не производите впечатления человека, который умеет жить среди чужих воспоминаний.

А если они и мои?

Вопрос вырвался у меня внезапно. Я сам не знал, что хочу им сказать. Быть может, ничего. Но ее лицо изменилось. Едва заметно, лишь на одно мгновение. И этого было достаточно.

«У вас нездоровая усталость с дороги», — произнесла она. - Я советую вам лечь раньше.

Я поклонился и вышел.

На лестнице меня догнала Софья.

«Простите мою тетку», — сказала она тихо. - Она не любит приездов.

Я уже заметил.

Она стояла на две ступени ниже меня, и потому мне был особенно ясен ее взгляд: в нем было не кокетство и не простая девичья робость, а выражение человека, который хочет предупредить и не смеет.

Если вы услышите ночью шум со стороны восточного крыла, не выходите, - сказала она.

Почему?

Она покачала головой.

Потому что в этом доме всякий, кто начинает искать объяснения слишком рано, потом жалеет, что не подождал.

Это сказано по доброте или по опыту?

По обоим основаниям.

Она хотела уйти, но я остановил ее.

Скажите мне хотя бы одно: я действительно никогда раньше не бывал здесь?

Она побледнела так быстро, будто я ударил ее не словом, а рукой. В следующую секунду она овладела собой и ответила:

Я не знаю.

Но ложь ее была слишком несчастна, чтобы быть убедительной.

Я вернулся в комнату с таким чувством, будто дом за один вечер успел обступить меня со всех сторон. Записка лежала на столе там, где я ее оставил. Ветер усилился. Снаружи послышался стук ветвей о стену, затем какой-то иной звук, не такой глухой и беспорядочный. Он был похож на медленный скрип железа. Я замер. Снова. Протяжно, с паузой. Калитка.

Я подошел к окну и долго стоял, не решаясь отдернуть занавесь. В иные минуты малодушие есть лишь другое имя для разума, и все же я не мог удержаться. Ткань шевельнулась под моей рукой. За стеклом была почти полная темнота, но бледная полоска дорожки в глубине сада проступала яснее прежнего, словно сама ночь берегла ее очертания. И мне почудилось, не глазами, а той внутренней памятью, которая часто лжет, но редко ошибается в ужасе, что у самой решетки кто-то стоит.

Я всмотрелся. Там никого не было.

И все же в ту самую минуту я вспомнил еще одно: детскую ладонь в своей руке, влажную от слез, и женский голос, уже не шептавший, а говоривший с отчаянием: «Если он войдет туда, мы потеряем всех».

Я отшатнулся от окна так резко, что задел стол. Свеча дрогнула. Письмо упало на пол. Когда я поднял его, на обороте, которого прежде не заметил, проступила еще одна строка, написанная, видимо, в спешке и очень бледными чернилами:

«Вы были в саду в ту ночь».



Глава II

Я не спал почти до рассвета, хотя и лег, как советовала хозяйка, рано, и притом с тем усталым смирением, какое обычно обещает человеку хотя бы несколько часов забвения. Но в ту ночь оно не имело надо мною власти. Стоило мне закрыть глаза, как в сознании моем вновь

возникала то белая полоска дорожки, проступавшая в темноте с почти злобной ясностью, то эта бледная приписка на обороте письма, то те странные слова, которых я не мог отнести ни к настоящему, ни к минувшему: если он войдет туда, мы потеряем всех.

Что значит память, когда она возвращается не как последовательность событий, а как мучительное присутствие чувства? Взрослый человек желал бы помнить иначе: ему нужны факты, даты, лица, порядок вещей. Но прошлое, если оно однажды было связано со страхом, является сначала не разуму, а телу. Оно приходит внезапным холодом, тяжестью в груди, отвращением к определенному звуку, к запаху сырой земли, к скрипу железа. И тогда ум, униженный таким вторжением, начинает лихорадочно сочинять объяснения, которые редко бывают правдивы и почти всегда оказываются запоздало.

Около четырех часов я перестал даже пытаться заснуть и встал. В доме стояла тишина того особенного рода, какая бывает не в мирном жилище, а там, где всякий шум днем подавляется привычкой, а ночью становится почти нравственным проступком. Я зажег свечу и снова развернул письмо. Почерк был неровен не в буквах, но в усилении, с каким они были выведены. Писавшая обладала, по-видимому, привычкой владеть собой, однако в нескольких местах перо как будто рвалось вперед, словно мысль опережала волю. Я перечел строки раз за разом и всякий раз убеждался, что в них нет намеренной загадочности. Меня не завлекали, не испытывали, не поддразнивали. Меня предупреждали.

С рассветом из окна стала видна ограда. Дневной свет всегда имеет то преимущество перед ночным мраком, что позволяет человеку считать себя смелее. Но есть места, которые при свете не делаются безопаснее, а только лишаются благородства темноты и потому кажутся еще более беспощадными. Таков был сад. Теперь я ясно различал старые деревья, теснящиеся одно к другому так густо, будто им было велено не пропускать никого внутрь. На некоторых ветвях еще держались сухие листья, черные от сырости. Между ними белел угол низкой каменной скамьи или, быть может, давно опрокинутой статуи. Дорожка, замеченная мною ночью, изгибалась внутрь и исчезала за густым кустарником. В этом изгибе было что-то почти человеческое, как в движении руки, которая сначала зовет, а потом заслоняет лицо.

Я оделся и спустился вниз раньше условленного часа. В коридоре уже слышались шаги слуг. Один из них, молоденький лакей, с каким-то пугливым усердием натирал медные подсвечники. Он вздрогнул, увидев меня, и поклонился неловко, как человек, которого застали за праздной мыслью.

Здесь рано встают, как я вижу, - сказал я.

По-разному, сударь.

А сад открывают когда-нибудь?

Он так резко поднял голову, что едва не уронил подсвечник.

Я ничего об этом не знаю.

Вы здесь давно служите?

С осени.

Это могло быть правдой, но выражение его лица говорило о большем, чем простое незнание. Люди низшего звания лгут обыкновенно не искусно, но часто благоразумно. Они гораздо лучше нас понимают цену чужим тайнам, потому что ежедневно живут возле них, не имея права ни на участие, ни на объяснение.

Я прошел в библиотеку, где предполагалось разбирать бумаги. Комната эта находилась в западной части дома и, вероятно, прежде служила хозяину кабинетом. Здесь все еще стояли высокие шкафы с книгами в потемневших переплетах, массивный письменный стол, два кресла и длинный диван с вытертым подлокотником, как будто кто-то привык проводить на нем целые часы, опершись локтем и не замечая собственного неудобства. В камине слабо тлели угли. На столе лежали несколько ящиков с документами, уже приготовленных для моего занятия.

Я сел, открыл верхний ящик и попытался принудить себя к делу. Бумаги касались главным образом владений, аренды, старых судебных тяжб и наследственных расчетов. Человеческая жизнь, сведенная к такого рода следам, производит впечатление не только сухое, но и унижительное. Страсти, которыми люди губят друг друга, в конце концов сводятся к почеркам, датам, печатям и суммам. Я просмотрел десятка два документов, не удержав в памяти ни одного, когда дверь библиотеки бесшумно отворилась и вошла Софья.

Она остановилась, словно удивившись, что застала меня уже за работой, хотя, быть может, и знала, что после бессонной ночи я не стану долго оставаться в постели. Дневной свет был к ней милосерднее, чем свечи вчерашней столовой. При нем лицо ее казалось менее бледным, а глаза, напротив, темнее. Она держала в руках книгу и выглядела так, словно пришла сюда под вполне невинным предлогом и только на пороге усомнилась в нем.

«Я не помешала?» —спросила она.

Не настолько, чтобы я пожалел о вашем приходе.

Она слегка склонила голову. В ее движениях не было ни светской легкости, ни деревенской простоты. Она принадлежала к тому разряду женщин, которые не умеют кокетничать именно потому, что слишком рано научились опасаться собственных чувств.

Тетушка велела спросить, не нужно ли вам чего-либо, - сказала она.

Правды, если ею здесь распоряжаются наравне с чаем и дровами.

Она едва заметно улыбнулась, но в этой улыбке было больше печали, чем веселья.

В этом доме правда подается малыми порциями, - ответила она. - И всегда остывшей.

А вы тоже так считаете?

Я считаю, что некоторые вещи делаются опаснее не оттого, что о них молчат, а оттого, что начинают говорить слишком поздно.

Тогда скажите хоть одно: кто написал мне вчера письмо?

Она взглянула на меня прямо. Несколько мгновений мы молчали.

«Вы и сами знаете», —произнесла она.

Лидия Сергеевна?

Да.

По какой причине она предупреждает меня?

Софья подошла к окну и остановилась так, что не видела сада, хотя именно туда выходили стекла. Этот маленький, почти бессознательный уклон головы поразил меня сильнее всяких слов. Человек может солгать, но тело его часто остается честнее языка.

«Потому что вы уже здесь», —сказала она. - И потому что теперь уже поздно желать, чтобы вы не приезжали.

Для кого поздно?

Для вас, для нее, для всех.

Эта неопределенность начинала раздражать меня, и, признаюсь, раздражение мое происходило не столько от самих слов, сколько от того непростительного интереса, который я уже испытывал к этой девушке. Я не имею обыкновения быстро привязываться к людям. Напротив, в общении я скорее склонен к сдержанности, иногда даже к той сухости, которую принимают за гордость. Но Софья действовала на меня каким-то тихим и тем более настойчивым образом. Я чувствовал, что в ней есть нечто незащищенное и в то же время скрытное, и эта смесь пробуждала во мне опасное желание не столько понять ее, сколько заставить ее понять себя саму.

«Вы боитесь сада?» —спросил я.

Она обернулась.

Здесь боятся не сада.

А чего же?

Того, что он возвращает.

Я хотел продолжать, но в этот миг дверь снова отворилась. Вошла Лидия Сергеевна. Она несла связку старых тетрадей, перевязанных выцветшей лентой. Софья сразу отступила на шаг, и в этом движении не было враждебности, но была та напряженная скованность, какую испытывают люди, слишком тесно связанные общим несчастьем, чтобы сохранить между собой простоту.

«Простите, - сказала Лидия, обратившись ко мне, — я не знала, что вы не один».

Здесь все, как я вижу, знают меньше, чем следовало бы, и больше, чем говорят, - ответил я.

Если мои слова и прозвучали резче, чем требовало приличие, Лидия не показала этого. Это нередко бывает в домах, где долго живут рядом и долго не решаются уехать, - сказала она.

Она положила тетради на стол.

Здесь старые записи. Ваш родственник имел привычку хранить все подряд. Быть может, вам это пригодится.

«Он тоже писал письма и не отправлял их?» —спросил я.

На этот раз она взглянула на меня холодно, почти строго.

Кто дал вам право задавать такой вопрос?

Тот, кто подбросил мне записку в комнату.

Софья тихо выдохнула, как человек, ожидавший удара. Лидия же осталась неподвижна.

«Я не подбрасывала записки», —сказала она. - Я оставила предупреждение.

Мне неясна разница.

Первая вещь делается из трусости, вторая из ответственности. - железным тоном ответила Лидия.

За что вы чувствуете себя ответственной?

Она помедлила. Я заметил, что пальцы ее, лежавшие на краю стола, слегка побелели.

За то, что вы приехали слишком поздно, чтобы ничего не узнать, и слишком рано, чтобы понять, что с этим знанием делать.

С этими словами она развернулась, но я остановил ее:

Вы написали: я был в саду в ту ночь. В какую ночь?

Она обернулась не сразу. Когда же обернулась, лицо ее уже утратило всякое внешнее волнение.

В ту, после которой этот дом перестал быть домом.

И она вышла.

Софья постояла еще мгновение, затем тоже направилась к двери.

Подождите, - сказал я.

Она остановилась, не поднимая глаз.

Вы были тогда здесь?

Да.

И она?

Да.

Кто еще?

Софья подняла голову, и выражение ее лица внезапно изменилось. До сих пор я видел в ней существо почти покорное обстоятельствам, но теперь в ее взгляде мелькнуло нечто твердое.

Не спрашивайте меня о чужой вине, пока не знаете своей, - сказала она и вышла прежде, чем я успел ответить.

Эти слова могли бы показаться мне дерзостью, если бы в них не слышалось чего-то более серьезного, чем желание уязвить. Я остался один и долго стоял посреди библиотеки, положив руку на спинку кресла. Никогда еще, даже в самые трудные периоды моей жизни, я не чувство-

вал так ясно, что почва подо мною не принадлежит ни рассудку, ни случаю. В этом доме уже существовал порядок смыслов, сложившийся без меня, и всякое мое движение лишь задевало невидимые нити, натянутые прежде.

Я сел к столу и принялся разбирать тетради, принесенные Лидией. Это были хозяйственные записи, перечни расходов, обрывки записок о посадках, о состоянии плодовых деревьев, о работах, некогда проводившихся в саду. На нескольких страницах речь шла о восстановлении северной аллеи, замене калитки, расчистке пруда и даже о заказе мраморной фигуры для центральной площадки. Из всего этого следовало, что сад когда-то был не только любим, но, возможно, составлял особую гордость дома. Мне трудно выразить, до какой степени поразило меня это открытие. Запретное место, окруженное молчанием и страхом, когда-то служило предметом заботы, денежных трат и, вероятно, семейного удовольствия. Значит, случившееся там не было древней легендой, растворившейся в поколениях. Оно принадлежало сравнительно недавнему времени. Иначе в живых не осталось бы столько людей, чье молчание носило столь личный характер.

На дне последней тетради я обнаружил сложенный листок. Он не был спрятан особенно искусно, но лежал так, что его легко можно было не заметить. Развернув его, я увидел всего одну фразу, написанную другим почерком, резким и почти мужским:

«Не допускайте детей к западной ограде после заката».

Ни подписи, ни даты. Но именно слово дети заставило меня на мгновение лишиться способности мыслить последовательно. Я знал, я почти знал, что это относится и ко мне, хотя разум все еще отказывался признать такую связь. В памяти снова мелькнуло что-то смутное: рука, сжимающая мою слишком крепко, звук чьего-то смеха, до странности неуместного, и светлый лоскут на ветке, который я тогда, вероятно, принял за игрушку или платок.

Я встал так резко, что кресло отъехало назад. В ту же минуту откуда-то из глубины дома раздался звон. Не колокольчик к обеду, не стук часов, а короткий металлический удар, похожий на падение чего-то тяжелого. Затем наступила тишина, за нею послышались поспешные шаги по коридору.

Я вышел из библиотеки. У лестницы уже стоял старый слуга, тот самый, что встретил меня ночью. Его лицо было более бледным, чем накануне, хотя и прежде оно не отличалось живостью. Он поклонился.

Госпожа Воронцова просит вас пройти в гостиную, сударь.

Что произошло?

Ничего такого, о чем стоило бы беспокоиться.

Эта фраза, как и подобает всем фразам такого рода, означала как раз обратное.

В гостиной я застал хозяйку, Софью и Лидию. Последняя стояла у камина, не прислоняясь к нему, но так прямо, словно держалась силой одной воли. Софья сидела у стола, и я сразу заметил, что руки ее дрожат. Госпожа Воронцова, напротив, сохраняла обычное самообладание, и оттого оно казалось почти нечеловеческим.

«Простите эту неловкость», — произнесла она. - В восточном коридоре упала старая ваза. Дом ветхий.

«Только ли дом?» — спросила Лидия.

Хозяйка медленно повернула к ней голову.

Я полагаю, вы забываетесь.

Напротив. Я помню слишком хорошо.

Я понял, что присутствую при столкновении, начало которого не принадлежит сегодняшнему дню. Всякая внешняя мелочь здесь немедленно оборачивалась знаком чего-то иного, внутреннего и давнего.

«Что было в восточном коридоре?» — спросил я.

Никто не ответил.

«Там окно выходит на сад», —сказал старый слуга от дверей так тихо, что сперва мне показалось, будто я лишь подумал эту фразу.

Наступила пауза. Если бы в комнате внезапно появился посторонний, он, вероятно, не заметил бы ничего необычного. Но я уже умел различать в этом доме те мгновения, когда молчание переставало быть отсутствием речи и становилось признанием.

«Степан», —произнесла хозяйка. - Вас не спрашивали.

Слуга поклонился и замолчал.

Я посмотрел на Лидию. Она отвечала мне прямым взглядом, без вызова, но и без желания смягчить то, что собиралась сказать.

«Сегодня ночью кто-то пытался открыть калитку», —произнесла она.

Софья вздрогнула.

«Это невозможно», — резко сказала госпожа Воронцова. - Ключа не существует.

«Ключ существует всегда, если существует замок», - ответила Лидия.

Вы опять начинаете.

Нет. Это он начал, когда приехал.

Она сказала это не обо мне, а так, словно речь шла о чем-то, давно ожидавшем своего часа и только теперь получившем движение. Я почувствовал внезапную, почти болезненную потребность вмешаться, прервать этот обмен полунамёками, который унижал меня даже сильнее, чем тревожил.

«Довольно», - сказал я. - Меня привезли сюда не для того, чтобы я блуждал в чужих недомолвках. Если в моем детстве действительно есть нечто, связанное с этим домом, я имею право знать.

Право, - повторила хозяйка, и впервые в ее голосе послышалось нечто живое, почти горькое. - Права в подобных делах не существует. Есть только цена.

Я уже начинаю ее платить.

«Нет», —тихо сказала Лидия. - Вы еще только входите в счет.

После этого никто некоторое время не говорил. За окнами шел мелкий дождь. Его едва было слышно, но серый свет, падавший на стекла, делал лица всех присутствующих еще более бледными. И вдруг, без всякого перехода, Софья встала.

«Я покажу ему портретную комнату», —сказала она.

Хозяйка резко повернулась к ней.

Зачем?

Потому что иначе он все равно найдет ее сам.

И что же это даст?

Софья ответила с такой неожиданной твердостью, что я снова поразился перемене, происходившей в ней всякий раз, когда страх уступал место решимости.

Быть может, не нам решать, что это даст.

Госпожа Воронцова ничего не сказала. Но это молчание уже не было отказом. Оно было поражением, пусть временным и внешне не признанным.

Софья подошла ко мне.

«Пойдемте», —произнесла она почти шепотом.

Я последовал за ней. Мы поднялись на второй этаж и прошли в дальнюю часть дома, куда вчера меня не водили. Здесь коридор был уже, потолок ниже, стены темнее. Воздух пах пылью, увядшей тканью и чем-то еще, чего я не сумел сразу определить, но что показалось мучительно знакомым. У одной двери Софья остановилась, достала ключ и, прежде чем вставить его в замок, посмотрела на меня так, будто хотела что-то сказать, но не решилась.

«Вы не обязаны входить», —произнесла она.

Напротив. Теперь, кажется, это единственное, что я обязан сделать.

Она отперла дверь.

Комната была большой и почти пустой. Плотные чехлы закрывали мебель, окна были наполовину занавешены, и потому свет падал косо, выделяя лишь отдельные предметы. На стенах висели портреты. Я не сразу различил лица, но почувствовал то неприятное стеснение, какое бывает в залах, где на человека смотрят давно умершие, сохранившие в живописи не черты, а укор.

Софья подвела меня к одному из портретов, висящему между окнами.

«Это ваш отец», — сказала она.

Я взглянул и узнал его не сразу, хотя сходство было несомненным. Передо мною был мужчина лет тридцати пяти, темноволосый, с усталым и, вместе с тем, надменным выражением лица. Художник польстил ему не больше, чем следовало. В глазах читалась не жестокость, но та опасная холодность, которая у некоторых людей заменяет мужество, а у других скрывает слабость.

«Он бывал здесь?» — спросил я.

Очень часто.

Почему же мне говорили, что наша ветвь семьи давно не поддерживала отношений с этим домом?

Потому что после одной ночи об этом стало удобнее не говорить.

Я перевел взгляд на соседний портрет и почувствовал, как в груди моей что-то сжалось с такой силой, что мне пришлось сделать шаг назад.

На портрете была изображена молодая женщина в светлом платье. Лицо ее нельзя было назвать безупречно красивым, но оно обладало той живой, одухотворенной прелестью, которая делает внешнюю правильность почти ненужной. Глаза ее смотрели не прямо на зрителя, а немного в сторону, и в этом уклонении таились одновременно нежность, тревога и что-то похожее на ожидание беды. Я не знал ее имени. Но сердце мое узнало прежде памяти. И в ту же минуту ко мне вернулся запах влажных роз, шелест платья по каменной дорожке и чьи-то пальцы, осторожно проводящие по моим волосам.

«Кто это?» — спросил я, и голос мой прозвучал ниже обычного.

Софья не ответила сразу.

«Это Анна Михайловна», — сказала она наконец. - Она умерла в ту ночь.

Я не отрывал глаз от портрета.

Как она связана со мной?

Софья побледнела.

Она была вашей матерью.

Я не помню, чтобы в тот миг испытал громкий, явный ужас. Настоящие потрясения приходят иначе. Они не поражают человека мгновенной болью, а словно отнимают у него привычную опору внутри, так что он продолжает стоять, говорить, дышать, и только позже замечает, что уже не находится в прежнем мире.

Мне говорили, что моя мать умерла за границей, - произнес я после долгого молчания.

Вам говорили многое.

И мой отец привозил меня сюда?

Да.

Значит, я действительно был в саду.

Софья закрыла глаза.

Да.

И видел ее смерть?

На этот вопрос она ответила не словами. Лицо ее исказилось так, что мне стало ясно: да, видел. Или нечто настолько близкое к этому, что между двумя этими истинами уже не было разницы.

Я отвернулся от портрета, но через секунду снова посмотрел на него, как человек, который не может решить, следует ли ему беречь себя от боли или, напротив, наконец допустить ее полностью.

«Кто рассказал вам все это?» —спросил я.

Никто не рассказывал. Я выросла в этом доме.

Тогда вы знаете и остальное.

Не все. Здесь никто не знает всего.

А Лидия?

Лидия знает больше, чем хотела бы. Тетушка меньше, чем уверяет себя. «А вы, - сказала она, и голос ее смягчился, — вы помните больше, чем способны сейчас вынести».

Она подошла к закрытому чехлом столику в углу комнаты и сняла с него ткань. Под ней оказался небольшой ящик темного дерева.

Это нашли после... после той ночи, - сказала Софья. - Среди вещей вашей матери. Тетушка не велела показывать вам, но теперь уже безразлично, что она велела.

Я открыл ящик. Внутри лежали несколько писем, перевязанных голубой лентой, засохший цветок и маленькая серебряная пуговица, детская, с вытертым узором. Я взял ее в руку, и мне почудилось, будто ледяная игла вошла в память. Я увидел себя, очень маленького, в темном пальто. Увидел чью-то согнувшуюся фигуру у калитки. Услышал спор, сначала сдержанный, потом страшный именно тем, что голоса старались не перейти на крик. И еще одно, последнее, почти невыносимое: голос матери, произносящий мое имя так, словно она одновременно звала и прощалась.

Я сжал пуговицу так крепко, что металл впился в ладонь.

«Читайте не сейчас», —тихо сказала Софья. - Иначе вы не дойдете до конца дня.

А до чего я должен дойти?

Она посмотрела на меня долго и так печально, что в иное время я отвернулся бы от подобного взгляда, чтобы не брать на себя невольных обязательств перед чужой душой. Но теперь именно в ее печали было нечто удерживающее меня от полного падения.

До того места, где вы перестанете искать виновного вне себя, - сказала она.

Она произнесла эти слова без обвинения, почти с состраданием. И потому они подействовали на меня сильнее любого упрека.

Внизу пробили часы. Их глухой звук прокатился по дому, как напоминание о времени, которое, несмотря ни на что, продолжало свое движение среди нашей боли, как продолжает идти дождь за окном комнаты, где человеку только что сообщили правду, изменяющую всю его прошлую жизнь.

Я закрыл ящик.

«Мне нужно остаться одному», —сказал я.

Софья кивнула и пошла к двери, но на пороге остановилась.

«Сегодня не подходите к восточной ограде после заката», —произнесла она.

Почему?

Потому что в прошлый раз вас оттуда увели. А в этот раз, возможно, будет некому.

Она вышла, оставив меня в полутемной комнате среди портретов, писем и той новой пустоты, которая раскрывается в человеке, когда он внезапно узнает, что его сиротство было не судьбой, а решением других людей.



Глава III

Есть известия, которые не поражают человека мгновенно, но, однажды войдя в его сознание, начинают медленно подчинять себе каждую мысль, каждое движение, даже самое ничтожное наблюдение. После слов Софьи я уже не мог смотреть на дом так, как смотрел накануне.

Все в нем стало не только чужим, но и как будто утаенным лично от меня. Я уже не был здесь посторонним. И это новое родство с местом не утешало, а унижало. Быть обманутым чужими людьми неприятно, но еще тягостнее узнать, что значительная часть собственной жизни была устроена на тщательно поддерживаемой неправде.

Я долго не открывал писем, лежавших в деревянном ящике. Мне казалось, что, пока лента не развязана, прошлое еще удерживается в той хрупкой форме, в какой я способен переносить его. Но человек редко бывает достаточно мудр, чтобы долго откладывать свою боль, если уже уверен, что боль принадлежит ему по праву. Я сел у окна в портретной комнате, пододвинул кресло к столу и развязал голубую ленту.

Письма были разного объема. Некоторые состояли из нескольких строк, другие из целых страниц. На двух или трех стояла дата. Остальные были без числа, будто писавшая не различала уже дней, а жила в одном продолжительном напряжении. Почерк моей матери был неровнее, чем на письмах, написанных, по-видимому, в спокойное время. Он не лишился красоты, но в нем появилась поспешность. Я взял первое попавшееся письмо, развернул его и увидел, что оно обращено не по имени, а словами:

«Если мне опять не хватит твердости сказать это вслух».

Эта строка уже несла в себе столько женской правды, столько страдания, утомленного борьбой с собственной привязанностью, что я почувствовал к неизвестной мне матери не только естественную сыновнюю жалость, но и то глубокое, почти благоговейное участие, которое мы испытываем к человеку, оставшемуся честным в самом разладе своей души.

«Если мне опять не хватит твердости сказать это вслух, пусть хотя бы бумага сохранит за меня то, на что я уже не надеюсь в сердце твоём».

Я вижу теперь, что человек может быть не злым и все же губить все, к чему прикасается. Я долго принимала силу за надежность, гордость за достоинство, молчание за глубину. Мне казалось, что если кто-нибудь страдает молча, то он страдает благородно. Но молчание бывает не только знаком боли. Иногда оно есть самая удобная форма жестокости».

Я не боюсь бедности, пересудов, разлуки и даже одиночества. Я боюсь только одного: что ребенок вырастет среди этой холодной неправды и однажды примет ее за естественный закон жизни. Тогда он либо станет похож на тебя, либо возненавидит самого себя за каждую черту, напоминающую ему о тебе».

Если ты еще способен хоть к одной искренности, не привози его сюда после осени. Здесь все нездорово. Не стены, не воздух, не сад, а то, что живет в душах под видом долга и памяти. Я чувствую это всякий раз, когда перехожу западную дорожку. Там будто уже совершилось то, чего мы еще только ждем».

Далее шло несколько строк, размытых, вероятно, слезами или сыростью. Последняя же фраза была почти неразборчива, кроме слов:

«если со мной что-нибудь случится».

Я перечел письмо несколько раз. В нем не было прямого обвинения, но вся его сдержанная горечь говорила больше любого крика. Особенно поразили меня слова о молчании. Мой отец, насколько я помнил его по поздним годам жизни, был именно из тех людей, которым охотно прощают внутреннюю сухость за внешнюю выдержку. Я всегда знал, что между нами стоит не близость, а нечто вроде взаимного соглашения не тревожить друг друга слишком глубоко. Он не был груб, не был склонен к шумной тирании, но я не мог вспомнить ни одного случая, когда тепло его души досталось бы мне даром. И теперь, глядя на его портрет и читая ее строки, я начинал понимать, что эта холодность была не особенностью возраста, а качеством всей его натуры.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.